

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Захар Прилепин. Жизнь и необычайные приключения</i> Гайто Газданова, описанные им самим	5
ВЕЧЕР у Клэр. Роман	19
ДРАКОН	114
ПРЕВРАЩЕНИЕ	118
ВОДЯНАЯ ТЮРЬМА	126
ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ	142
БИОГРАФИЯ	156
ВЕЛИКИЙ МУЗЫКАНТ	160
ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ	199
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛОРД	212
БОМБЕЙ	228
ВЕЧЕРНИЙ СПУТНИК	261
НОЧНЫЕ ДОРОГИ. Роман	281
ШРАМ	438
ПРИЗРАК АЛЕКСАНДРА ВОЛЬФА. Роман	453
ПАНИХИДА	548
ЭВЕЛИНА И ЕЕ ДРУЗЬЯ. Роман	557

ЖИЗНЬ И НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГАЙТО ГАЗДАНОВА, ОПИСАННЫЕ ИМ САМИМ

Гайто Иванович Газданов зримой своей жизнью тяготился.

Без видимых на то причин.

Осетин по матери и по отцу, родившийся в Санкт-Петербурге 6 декабря 1903 года, он был представителем уникальной и удивительной семьи.

Образованнейший его, исключительных мужских качеств отец — служил лесничим, и непрестанно, вместе с женой и сыном, перемещался по России. Не менее образованная мать на определённом этапе своей жизни преподавала немецкий и французский в высших учебных заведениях, а также выступала как переводчица.

Каждое лето — ребёнок, а затем подросток — Газданов проводил на Кавказе, на своей малой родине; охотился, с детства владея стрелковым оружием.

Кроме того, он путешествовал с родителями по Сибири, жил в Тверской губернии, затем в Полтаве — там поступил в Петровский кадетский корпус. В Харькове продолжил учёбу в гимназии, и, не доучившись, в 1919 году ушёл воевать в Белую армию.

Провоевав год, оказался вместе с отступающей Белой армией в Крыму.

Далее: пароход в Турцию — и пожизненное изгнание, тогда ещё не вполне осознанное и не казавшееся непреодолимым.

Из Константинополя Газданов перебрался в Болгарию, где в городе Шумен окончил, наконец, русскую гимназию.

С 1923 года — жил в Париже.

Бедность, работа портовым грузчиком, мойщиком паровозов, слесарем. Учёба на историко-филологическом факультете Сорбонны.

Первые опубликованные рассказы, первый роман, первый успех.

Общее место филологии, что Набоков и Газданов были двумя основными молодыми величинами в литературе русской эмиграции. И в силу данной инерции — ещё и соперниками. Но, перейдя на английский язык, Набоков увеличил разрыв

между ними даже не в разы, и не в десятки раз, а, пожалуй (исчисляя успех в тиражах, интервью, эфирах, доходах) — в тысячи.

Между тем, Газданов свободно владел французским. Он мог бы писать на французском. Как минимум, французские диалоги в ряде своих романов он писал сам. Но набоковский вариант ухода в иноязычие так и не был принят им.

Литературная деятельность не принесла Газданову хоть сколько-нибудь весомого достатка.

Долгое время он трудился в Париже ночным таксистом, что невольно сделало его знатоком парижского дна, и вообще знатоком этого города. Париж станет в известном смысле постоянным героем его прозы.

Газдановское детство в разных уголках России, газдановская война, газдановский Париж — темы, требующие своего вдумчивого путеводителя.

Газдановские взаимоотношения с парижскими эмигрантами и самой разнообразной богемой — ещё одна, не менее любопытная для исследователя, тема. Он знал всех — Набокова, Бунина, Берберову, Цветаеву, Поплавского, Бориса Зайцева, Ивана Шмелёва, Мережковского и Гиппиус, прочих, прочих, прочих.

Газданов жил в Париже одновременно, навскидку, с Хемингуэем, Экзюпери и Есениным (в пору его женитьбы на Айседоре Дункан). Адреса вышеназванных, впрочем (я проверял), были в разных концах города.

Не слишком распространяясь, упомянем ряд последующих нетривиальных событий в жизни Газданова.

Во-первых: непосредственное участие в деятельности французского Сопротивления в период Второй мировой. Он был редактором информационного бюллетеня подполья, в то время как жена его являлась связной. Они оба, в случае неудачи, были бы казнены за свою деятельность.

Во-вторых: его масонство. В послевоенные годы он вырос до руководителя (досточтимого мастера) ложи «Северная звезда».

В итоге, даже кратко данная канва газдановской биографии со всей очевидностью говорит: судьбу его никак не назовёшь ординарной.

Он был наделён необычайным и важным (для писателя) опытом с точки зрения даже этнической: между прочим, Газданов самый знаменитый и значимый осетинский писатель в мире. А также с точки зрения, например, географической: отцовская служба, война, жизнь в эмиграции — всё это вынудило его узнать и рассмотреть сотни мест и, пожалуй, тысячи людей в самых разных ситуациях. Ну и с иных точек зрения он был не обделён опытом и знанием жизни: тут тебе и учёба в одном из лучших университетов мира, и целый ряд рабочих специальностей, освоенных им.

Газданов не был и не мог стать «кабинетным» писателем; в том числе и потому, что свой кабинет появился у него только после Второй мировой войны. Зато в 20-е он успел побывать бездомным, или, если на французский манер, — клошаром.

И тем не менее, если хоть сколько-нибудь внимательно читать газдановскую прозу, сложно не заметить, насколько чужда была ему собственная судьба.

Жизнь, полная огромных событий (доброволец двух войн, успевший прожить несколько жизней в разных странах) и столь же удивительных встреч (он лично знал дюжину мировых литературных величин первого ряда) — казалась ему, скорей, даже скучной.

Особенно в сравнении с теми — картинами? фантазиями? душевными порывами? — что преследовали его сознание неотступно.

Газданов, живший и насыщенно, и небанально — хотел иного звучания жизни, хотел другой, в смысле поэтического, музыки.

Он провёл годы и годы в поисках своей истинной жизни.

Иногда он вдруг почти настигал эту, вечно ускользающую мелодию. И тогда реальный, живущий, из плоти и крови Гайто Иванович Газданов вдруг соединялся со своим вечным русским, стамбульским, парижским двойником. И они становились — одно.

Но скоро мелодия ускользала, её сносило ветром, течением и временем. И ему приходилось тратить огромные душевные силы, чтоб однажды услышать её вновь. И снова попытаться рассказать о ней.

Он умел передавать в своей прозе тот тишайший гул настигающего нас мироздания — вдруг делающего на миг, как во время удара молнии, все предметы ясными. Только это и делает литератора — исключительным.

Мне хотелось бы, наконец, сообщить потаённое и столь важное для меня.

Я не знаю писателя лучше, чем Гайто Газданов.

Смогу ли я это объяснить или доказать? Нет, никогда.

Допустим, я могу сказать, что у осетина Газданова, прожившего в России всего 17 лет — удивительно гуттаперчевый, удивительного богатства, чистейшего звучания русский язык.

Ещё могу сказать, что его чувство архитектуры текста столь же безупречно.

Хотя эти чудачки — эмигрантские критики, — не выбравшиеся из представлений XIX века, — никак не могли понять, отчего бы ему не написать роман с внятным сюжетом.

Газданов обладал тем редким литературным тактом, что не позволял использовать ему мелодраматические, с целью завлечения читателя, ходы. И тем не менее, Газданов использовал их практически в каждом романе. Просто делал он это настолько изящно, что швы оставались неприметными даже для опытных критиков.

Истинный газдановский сюжет — это найденная и доведённая до финала мелодия человеческой муки, вдруг, на самой вершине отчаяния, претворяемой в хрустально звучащее счастье. Это и есть главная тяга его сочинений, а не нагромождение банальных ходов, кочующих из одной глупой книги в другую.

Ещё можно было бы рассказать, как Газданов остроумен, и как психологически находчив, когда рисует стремительными штрихами портреты своих героев. Пять, семь слов — и вот уже ты видишь человека.

Но толку все эти газдановские достоинства перечислять?

Если читатель не видит сам — его не принудишь поверить на слово.

Мне встречались литературно одарённые люди, которые в ответ на добрые слова о Газданове пожимали плечами: «...ну, наверное... хотя...».

Ничего не могу поделать с тем, что с тех пор я навсегда считал этих людей глуховатыми, и никакие литературные их удачи не могли меня убедить в обратном.

Одна русская парижанка помогла мне найти квартиру в Париже, где Газданов долго прожил, и я долго, тихо оглушённый, стоял там, глядя на его окна.

Потом она прочитала «Вечер у Клэр» — и заметила мимоходом, что Газданов «...всего лишь беллетрист». На что я мысленно и с некоторой даже нежностью ответил ей: а ты, друг мой, несмотря на редкую красоту, к несчастью, всё-таки глупа, и это непоправимо.

Не столько потому глупа, что не поняла прозы этого осетина, — на самом деле, Газданов действительно непростой писатель, требующий известных филологических навыков, — а потому, что позволила себе впроброс делиться мнением о вещах, бесконечно далёких от неё, и в той же мере ей недоступных.

Зато мы так хорошо сидели с ней в парке у газдановского дома; кажется, там были утки, но это не точно. Куда точнее, что она была похожа на несколько героинь Газданова, умевших одним своим видом словно бы воссоздавать удивительную музыку, так влекшую его.

Женщины в книгах Газданова — соразмерный, скажем, тургеневским девушкам или Достоевским героиням феномен.

Газданов привнёс в русскую литературу этот, в XIX веке ещё немыслимый типаж: женщины, казалось бы, ветреной, но ведомой не распутством, а той самой покорительной музыкой, противостоять которой нет никакой возможности — потому что: разве есть вещи важнее музыки? Не гибкий ум и не гибкая стать, а безупречная (в движении, жестах, взглядах) интонация делают этих женщин притягательными.

Ужасное же, связанное с женщиной и могущее показаться даже циничным литературное открытие Газданова состояло в следующем.

Возьмём его первый, вышедший в 1930 году, роман — «Вечер у Клэр».

Перед нами книга о непрестанных потерях. Он теряет детство. Теряет отца. Теряет несчётное количество однополчан на войне. Теряет из вида крымский берег. Теряет малую родину. Теряет огромное Отечество. Теряет возможность увидеть мать. Теряет всех близких, всю свою прежнюю жизнь, отрезанную от него навсегда.

И вдруг, однажды, не мечтая и не надеясь, он встречает свою удивительную знакомую по имени Клэр. И, провожая Клэр домой, целует её, — и чувствует запах мороженого. И этот, пахнувший ледяным и сладким мороженым рот,

и её голос, произносящий по-французски: «Как, вы не понимали?...» — он оказывается...

(...здесь надо собраться с силами и всё-таки произнести это...)

...он оказывается соразмерен всем потерям!

Потому что вослед страшному сну о бесконечных потерях — приходит «лепечущий» и «сбывающийся» (эпитеты Газданова) «прекрасный» сон о Клэр.

Как вознаграждение. Как укол счастья в самое сердце, прощающее миру всё — за этот пахнувший мороженым рот.

Означает ли это, что Газданов, обретая любовь (если то действительно случилось), переставал тосковать по оставленной Родине, по близким, по своим могилам, по сибирским рекам, по Владикавказу, по Харькову, по Крыму?

Нет, нет.

Ни в прозе, ни, кстати, в жизни печаль его не закончится никогда.

И тем не менее, он явственно допускал эту — невозможную! эту чудовищную! — эту прекрасную мысль. Мысль о том, что черед потерь, каждая из которых равна смерти, — всего лишь прелюдия к тому, что любимая женщина, глядя в глаза, спросит: «Как, вы не понимали?...» — и дыхание её будет холодным, а рот — горячим.

Возьмём его последний законченный роман, «Эвелина и её друзья», вышедший в 1967 году. 37 лет — целую пушкинскую жизнь — спустя! И вдруг обнаружим там ровно ту же самую мысль.

Мысль о том, где же таится выход из бесконечной печали.

Газданов пишет: «И всё, что было до сих пор, — эти годы бесплодного созерцания и неподвижности, печаль, которую я испытывал, ощущение усталости, которое я так хорошо знал, сознание, что нет вещей, которых стоило бы добиваться, — всё это было обманчиво и неверно; это было длительное ожидание возврата в тот мир, в котором возникала Эвелина — такая, какой она никогда не была до последнего времени и какой она была создана».

Давайте же ещё раз повторим, о чём он говорит.

Вся бессмыслица мира — преодолима. Она преодолима в тот миг, когда вдруг раздаётся эта долгожданная музыка, и любимая тобой женщина вдруг становится той, которой задумана. Причём задумана — и для судьбы, и для тебя.

* * *

Однако было бы странным подумать, что Газданов — писатель «о любви».

Нет, конечно.

Он писатель о войне и мире, о преступлении и наказании, о бедности, о пороке, о коварстве, и лишь затем — о мужчине и женщине.

Но чем лучше узнаёшь прозу Газданова, тем болезненнее осознаёшь: в современном мире этот чувствительный, тонкий, всё, или почти всё понимающий чело-

век — не может быть ни принят, ни понят. В силу бесконечного количества обстоятельств.

Газданов нарушает почти все основные, так называемые «прогрессивные» табу. При том, что, кажется, даже не подозревает о том, насколько чудовищно он себя ведёт (в нынешних, естественно, представлениях).

Вот как, к примеру, он описывает украинца в Европе.

О, это портрет.

«По-русски... он говорил с малороссийским акцентом, и отвлеченные понятия никогда не фигурировали в его разговоре... Работал он хорошо, был вынослив, и то, что он делал на фабрике, его живо интересовало. Он отличался еще исключительной бережливостью и анекдотической скупостью, питался только бульоном, хлебом и салом, которое он купил сразу в большом количестве за ничтожную цену, потому что, объяснял он, оно сверху было немножко испорчено, и всё откладывал деньги. Потом он купил прекрасные, дорогие часы на руку — но они стояли всю неделю, он заводил их только в субботу и воскресенье, говоря, что иначе механизм изнашивается. Жизнь его была чрезвычайно проста — всю неделю он работал, возвращаясь с фабрики, тотчас ложился спать, в субботу же шёл сначала в баню, затем в публичный дом. Та культура, с которой ему пришлось соприкоснуться во время учения, прошла для него совершенно бесследно; и никогда ни один отвлечённый вопрос не занимал его внимания...

В самое первое время в Париже, разговаривая с ним, ещё можно было представить себе, что этот человек чему-то учился, но уже года через два от этого ничего не осталось; он забыл это так, казалось бы, глубоко и непоправимо, точно этого никогда не существовало. Как большинство простых людей, попавших в иностранную среду, он избегал говорить по-русски, и если бы не акцент и ошибки в глаголах, временах и родах, его речь можно было бы принять за речь французского крестьянина. Он ушёл с завода, где мы работали вместе, и несколько месяцев спустя я видел его в вагоне метро: на красноватых его руках, которые я хорошо знал — с утолщениями к концам пальцев и закругляющимися ногтями, — были перчатки нежно-желтого цвета, а на голове был котелок. Фамилия его была Федорченко, и это его очень огорчало, так как, по его словам, французам было трудно её произносить, и всем своим новым знакомым он представлялся как *mr* Фёдор».

За такие портреты, знаете, нынче исключают из приличного общества.

Газданов, о ужас, не любил эмигрантскую литературу, и почти ни к кому из своих современников не относился серьёзно. Он считал устаревшим Бунина. Он не воспринимал Цветаеву и Бальмонта. Он относился иронически к Мережковскому, считая его литератором (цитата) «третьестепенным». А о Зинаиде Гиппиус и того не говорил.

Зато он любил Блока. Блока он любил больше всех — оттого что именно у Блока появлялась (и вновь исчезала) эта прекрасная (и страшная) музыка, и женский поцелуй мог значить так много, что мироздание теряло равновесие.

Но Блок остался в Советской России.

Что до молодой эмигрантской литературы, то в одном из рассказов («Бомбей») Газданов писал: «За многие годы литературной жизни, посещая бесчисленные собрания, я привык слушать самое разнообразное чтение. Я слышал скороговорочное бормотанье совершенно незначительных произведений и длиннейшие отрывки из бессодержательных романов, и некоторых авторов, просто плохо владевших русским языком и писавших на полуукраинском-полуеврейском наречии; я слышал бесконечное множество разнообразных стихотворений, иногда даже со звукоподражательными эффектами, вроде завывания ветра или шума дождя, — и длинная галерея графоманов сохранилась в моей памяти».

В том же рассказе Газданова мелькает христианский философ (в котором угадывается один крупный русский мыслитель в изгнании, чьё имя называть вслух мы не рискнём): «В другой раз, на лекции одного критика, отличавшегося очень своеобразными взглядами на русскую литературу (он был независимый, смелый и глупый человек) и, в частности, отрицавшего за Достоевским почти все достоинства, в зале раздался неумелый, но тщательный свист, и выяснилось, что свистел приличнейший человек, приват-доцент, очень немолодой мужчина с причудливо очерченной лысиной, так что издали казалось, что голова его покрыта зачем-то сероватым кружевом странного рисунка, специалист по Византии, богоискательству и тайникам души; сам он говорил вещи преимущественно возвышенные, актерски-адвокатским задушевым голосом и с надрывом, употребляя такие слова, как “юдоль”, “ипостась”, “искус”, “прообраз”...»

Здесь мы с удивлением находим типажи, которые легко обнаруживаются и в нашу эпоху: от смелых и в той же мере глупых критиков до надрывных богоискателей.

Присутствует в прозе Газданова (рассказ «Водяная тюрьма») не менее пространённый во все времена тип еврейской дамы без возраста, видящей себя центром притяжения «людей искусства», но при том представляющей собой существо и душевно пустое, и малообразованное.

О, какой злой человек этот Газданов!

Марина Цветаева его за эту невозмутимую иронию (кавказскую, но при том ещё и петербургскую, отчасти тоже блоковскую) — терпеть не могла.

Быть может, Газданов сохранил исключительные воспоминания о своих белогвардейских сослуживцах?

Да, они возникают в сочинениях Газданова с завидным постоянством — от первых его текстов до последних.

В рассказе 1927 года «Шпион» мы видим их: «Оборванные солдаты белой армии пересекали пространства южной России. Пьяные прапорщики пели, фальшивя, опереточные арии; кавалеристы, нанюхавшиеся кокаина, покачивались в сёдлах; проститутки и сутенёры, мародёры и коммерсанты шли по пятам наступающих».

В романе «Ночные дороги» (закончен в 1941 году) Газданов узнаёт «свирепого», «высокомерного» и «жестокого» белого генерала «в пьяном старике с седыми усами и мутным взглядом».

Далее читаем: «...он хлопал своего соседа, пожилого французского рабочего, который особенным, характерным для французского простонародья движением открывал вкось рот с прилипшим к нижней губе, насквозь промокшим коротким окурком, — и говорил, с сильным акцентом: мы их на-ду-ли! — и потом вдруг выпрямлялся и умолкал, и мутный его взгляд начинал внезапно грустить, и он говорил: «ещё стакан белого», — и из разговора я понял наконец, что было предметом и этого восторга, и этой выпивки: их группе рабочих удалось сдать бракованный материал — и получить за него деньги».

«Потом я узнал от моих знакомых, что, по их сведениям, генерал этот получил какое-то прекрасное место не то в Аргентине, не то в Бразилии, и уехал туда уже очень давно; кажется, он преподаёт баллистику или ещё что-то в этом роде в тамошней военной академии. Мне сказали, что он уехал лет восемь тому назад, что он оттуда никому не пишет. Этот отъезд, однако, он обставил с исключительной расточительностью, устроил банкет, все пили шампанское и поздравили его с тем, что вот, наконец, он получил место по заслугам, и что в будущей России, конечно...

— Это он себе похороны устраивал, — сказал я, — вот почему эта поминальная роскошь. Бразилия, Аргентина! А в самом деле — сырая рабочая гостиница в шести километрах от Парижа, заводская сирена, красное вино, ежедневное хождение на фабрику, боль в ревматических суставах, перерождение печени, — по счастливому медицинскому выражению, — и никакой Бразилии, никакой Аргентины, никакой, конечно, будущей России и ни одного утешения с той самой минуты, когда дымным осенним вечером нагруженный до отказа пароход вышел в бурное море, оставляя навсегда берега побеждённого Крыма».

Нет, он совершенно беспощаден, этот чёртов Газданов. Какой мёртвый холод в словах. Какая — не безгловость даже, а — усталость.

При том, что в романах Газданова безжалостно высмеиваются «левые» партии и «левые» французские политики, у него нет ни одного дурного слова о его противниках в годы Гражданской — о красных. Никаких «бесовских», «азиатских» «рож», и так далее, без чего вообще сложно представить эмигрантскую литературу. Мы же говорим: он всё-таки был человек с Кавказа. У него были

свои представления о чести. Проиграть — а потом сводить счёты, злословя в романах? Побеждать — но уже на словах? Немыслимо.

Однако и такое поведение нынче не ценится — но, напротив, считается предосудительным.

Помимо французских политиков, Газданов не оставил без внимания и «французскую культуру», всегда служившую для русского человека образцом качества. Но — не для него.

Открываем рассказ «Великий музыкант» 1931 года: «Средний французский актёр может сравниться по своему душевному убожеству только с негром, самоедом или зулусом — с той разницей, что те всё же естественнее, — сказал как-то Борис Аркадьевич. — А в “Comédie Française” вы не были?» — продолжал он. — Я попал туда однажды на длинейшую трагедию Корнеля, которая сама по себе была чрезвычайно дурна, — и это ещё усугублялось вовсе невероятной игрой актёров; они делали однообразные движения, вытягивая и отдёргивая руки, стояли на сцене и говорили с такими интонациями, которые, по их наивному мнению, должны были сделать их речь похожей на речь римлян, но которые мне лично показались бы наиболее характерными в устах идиота или сумасшедшего».

Здесь скажут: но это же речь персонажа!..

Подождите. Вот и авторская ремарка, идущая вослед за этим абзацем: «Резкость суждения Бориса Аркадьевича, всегда несколько задевавшая меня, на этот раз показалась мне оправдываемой».

Не знаем, за что Газданову досталось бы в наши дни хуже — за столь даже не комично, а трагично европеизировавшихся украинцев, за белую эмиграцию, за французских политиков и французских актёров, или за негров и зулусов.

Тем временем он идёт дальше и, пожимая плечами (один из наиболее часто встречающихся деепричастных оборотов в прозе Газданова), лениво цедит про одного характерного персонажа: «...он был “снобом” и даже педерастом: но не по физиологической потребности, а всё из того же снобизма, несколько наивно им воспринятого».

«Несколько наивно». Как прелестно. Вернее: как беспощадно.

Если к педерастам от природы Газданов ещё мог быть снисходителен, хоть и не считал их мужчинами, то к педерастам «из снобизма» он относился с неизбежным и последовательным презрением.

В женщинах Газданов признавал (восхищающую его) интуицию, но никак не логику. Впрочем, женская интуиция, согласно Газданову, несомненно более совершенна «по сравнению с тупым и грубоватым восприятием мужчин».

Что там ещё осталось нетронутого его сарказмом?

Ах, да. Он прямо говорил, что не верит в Бога.

Чудовище же?

Нет.

Поразительно, мучительно, безупречно чувствующий, беспощадный к себе, бесстрашный человек.

С таким хотелось бы дружить. Воевать. Можно даже в противостоящих друг другу армиях. Идти сквозь дикое русское поле. Перемещаться сквозь ночной Париж, глядя на раздавленные ночные огни — и ничего не говоря.

У меня до сих пор не помещается эта мысль в голове. Ведь он, будучи таксистом, перевозил по Парижу тысячи людей! И ни один из них, буквально ни один, не знал, что этот крепкий парень атлетического сложения за рулём — великий человек.

Собственно, я не слишком помню, понял ли это в полной мере и хоть один его образованный современник.

Да, десятки, и, может быть, даже сотни ценителей его прозы признавали необычайную его даровитость.

Но то, что Газданов — классик абсолютный и безусловный, не рискнул сказать вслух, кажется, никто.

Не знаю, в каких словах, в каких координатах он оценивал себя сам, но, кажется, нет более нелепого факта в истории литературы прошлого века, чем то, что роман Газданова «Вечер у Клэр» — один из лучших в русской (а значит, и в мировой) литературе, стоящий в одном ряду с «Капитанской дочкой», «Героем нашего времени», «Анной Карениной» и «Защитой Лужина», — был издан всего один раз... тиражом 1050 экземпляров. И не переиздавался при жизни автора (Газданов умер за день до своего дня рождения в 1971 году) никогда.

В романе том не было ничего антисоветского, хоть главный герой и воевал в Белой армии, но даже стараниями Горького «Вечер у Клэр» не смогли издать в СССР.

И ровно по той же причине «Вечер у Клэр» не понадобился там, за кордоном, ни одному из множества издателей. Ведь в нём не было ничего антисоветского!

Главный герой романа, альтер-эго автора, ушедший воевать в деникинскую армию, спокойно сообщает читателям, что пошёл к белым — только потому, что они стояли в том городе, где он тогда жил. Но если б там оказались красные — он пошёл бы с ними. Просто потому, что его интересовала война как таковая, а не чья-то правота.

И это ещё одна причина, чтобы исключить Газданова навсегда из любых гуманистических и прогрессистских святцев.

Если бы прозу Газданова всерьёз изучали сегодня в главных мировых университетах (чего он безусловно заслуживает), скорей всего, научное сообщество сошлось бы на том, что он был душевно болен.

Он и сам не скрывал этого, когда писал: «Я всегда переходил от радости к отчаянию в самых неподходящих обстоятельствах; и у меня создавалось такое впечатление, что с самого начала в моей душевной жизни произошла какая-то резкая

ошибка во времени — и потому всё происходит не так, как следует. Как часто мне приходилось делать необыкновенные усилия, чтобы не рассмеяться в то время, как мой смех показался бы оскорбительным или просто результатом сумасшествия; и какие странные, почти физически тяжёлые предчувствия одолевали меня иногда — в то время, как всё было хорошо или благополучно. И всегда меня вёл в этом какой-то фальшивый магнит или испортившийся компас, и я попадал не туда, куда было нужно, и не тогда, когда это следовало бы».

Проблема, однако, состоит в том, что Гайто Иванович Газданов был совершенно здоров.

Магнит его работал — идеально.

Просто он, как тот мальчик из сказки, смотрел прямым взглядом, называя вещи своими именами; или, по крайней мере, теми именами, что были присущи тем вещам в его эпоху.

Разве он был виноват в том, что несколько лет подряд наблюдал жизнь парижского дна, и видел людей в такой низости, какую не стоило бы наблюдать в упор?

Разве он был виноват в том, что стал свидетелем, как десятки, сотни или даже тысячи его знакомых так или иначе пошли в услужение к нацистам, чей облик никогда не вызывал у Газданова иллюзий?

Разве, в конце концов, он был виноват в том, что в 15 с половиной лет принял участие в одной из самых зверских и кровопролитных войн в истории человечества?

С тех пор, как писал Газданов о себе, его сознание неизменно сопровождало «...то бессознательное и бесплодное любопытство, которое давно, ещё в России, заставляло меня блуждать после сражения целыми часами по зимним полям, покрытым исковерканными пулемётами, брошенными винтовками и убитыми солдатами, лежавшими в самых странных положениях, или ходить вдоль железнодорожного полотна — над ним возвышались столбы с повешенными; один из повешенных, помню, издали поразил меня своим необычайно маленьким ростом, я думал сначала, что это ребёнок, — но, подойдя вплотную, увидел старого человека с распухшим лицом; обе ноги этого человека были отрезаны...»

Остаётся лишь удивляться, как, имея подобный опыт, подобное зрение и подобный — признаться, исключительный — интерес к жизни, — он сохранил абсолютный музыкальный слух.

Он слышал музыку мироздания, как слышал её Блок, и как слышал её Лермонтов — безусловно родственный Газданову более, чем кто бы то ни было.

Часто гадают, каким был бы, какую прозу написал бы Лермонтов, когда б Господь судил ему иной срок, или — окажись он в иных эпохах.

Мы не скажем, что это была бы газдановская проза. Но прекрасная и страшная музыка — там, уверены, была бы та же, родственная газдановской.

Словно бы, проходя или проезжая конным по тем кавказским путям, где бывал и Лермонтов на столетие раньше, Газданов вдруг угодил в световой луч лермонтовского, затерявшегося во временах, гения, и понёс этот луч дальше — со всей этой лермонтовской стоической тоской о непрекращающемся человеческом маскараде.

Безупречно задуманный интеллектуально и физически, обладавший глубоким умом и замечательной физической силой, Газданов желал себе иной доли. Желал, в конце концов, не тоски, — а счастья; отчего бы и нет?

Но такой судьбы Господь ему не предоставил.

Иначе бы мы и не имели такого писателя. Иначе бы мы и не слышали той трагической и безупречной музыки.

В упомянутом романе «Эвелина и её друзья» собеседник рассказчика — то есть, собеседник, прямо говоря, самого Газданова, — спрашивает у него:

«Когда ты собираешься жить? Что тебя интересует? Что занимает твоё внимание? Тот или иной оборот чужой мысли, тот или иной стилистический приём, то или иное понимание мира, изложенное давно умершим автором? Где в этом — настоящая жизнь? Почему ты сам себя осудил на это одиночное заключение? Ты раньше не был таким, мы все это помним. У тебя были увлечения. Ты занимался спортом. Что от всего этого осталось? У тебя нет стремления к чему-либо, нет женщины, которую ты любишь, — есть только это твоё упрямое созерцание. Подожди, когда тебе будет восемьдесят лет, тогда у тебя будет время на это. А сейчас... То существование, которое ты ведёшь, подходило бы для очень пожилого, больного и усталого человека. Но ты, слава богу, не стар и совершенно здоров — и откуда у тебя могла бы быть такая непонятная усталость? Что могло произойти?.. Что, в конце концов, с тобой случилось? Почему ты не живёшь, а смотришь, как живут другие? Ты находишь, что это нормально?»

Он отвечает: «Моя жизнь действительно не такая, какой она должна была бы быть. Отчего это так получилось, я не знаю».

Он так и оставил мир земной с этим, не покинувшим его, ощущением сворованной у него истинной жизни.

Грустно, но так.

Однако мы вправе исправить всё постфактум.

Как минимум, мы вправе пересмотреть этот, о его жизни, сериал заново, — по тем текстам, что написаны Гайто Газдановым от первого лица.

«И повторится всё, как встарь...» — но чуть иначе, с поправкой на расслышанную, наконец, музыку.

На сложившуюся в цельность и безупречную определённую мелодию его судьбы.

Это четыре романа и дюжина рассказов. Их действительно возможно было бы экранизировать, один за другим, как единый непрекращающийся текст — только не очень понятно, кому.

Однажды этот режиссёр неизбежно отыщется — тот, который сможет рассказать о потаённом, и вместе с тем — о самом настоящем Газданове. Но пока этого режиссёра нет, у каждого из нас есть шанс создать этот фильм самому. Самому выступить и режиссёром, и оператором, и композитором.

Какие-то события в книгах Газданова, написанных от первого лица, след в след ложатся на реальную его судьбу. Какие-то проходят по касательной и совпадают с его жизнью лишь отчасти. Какие-то, пожалуй, не совпадают вовсе. Но какое это имеет значение?

То, что скучно именуется «художественной реальностью» — вполне возможно, в глазах Создателя является реальностью куда более весомой и явной, чем вся эта человеческая суета.

Кто, в конце концов, рискнёт сказать, что Одиссей менее реален, чем Гомер?

Кто в здравом уме заявит, что Печорина или Андрея Болконского — не было?

Случай Газданова состоит в том, что он сам себе — Одиссей, Печорин и Болконский.

В этом удивительном фильме будет несколько женщин. Ещё там будет несколько войн. И множество дорог.

Там будут разочарования, но будут, как неизбежный итог разочарований, — и обрушительные любви.

Там будет такая же томительная и временами горькая, слишком горькая, невыносимо горькая, как и его, — судьба.

Но в финале мы поймём, какой — безусловный и прекрасный — замысел Господень пронизывал ту судьбу.

И осенял её.

Эта жизнь была — прекрасной.

Её музыка — пленительна.

Захар Прилепин

ВЕЧЕР У КЛЭР

Роман